

«ПРОРОК» ПУШКИНА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Стихотворению А. С. Пушкина «Пророк» посвящено огромное количество исследований. Их неиссякаемый поток связан как с попытками постижения художественного совершенства этого шедевра, так и с неясной историей его создания, породившей жаркие споры среди пушкинистов. На протяжении полутора столетий пушкиноведение вбирало в себя различные философские и социально-исторические веяния, что отразилось и на понимании «Пророка». Очень схематично движение научной мысли, связанное с этим стихотворением, можно изобразить следующим образом: от «Пророка» как «идеала поэта» (П. В. Анненков)¹ и «чистого носителя (...) безусловно идеального существа поэзии» (В. Соловьев)² к декабристскому подтексту произведения; между этими концепциями был этап испуганного шарахания от открытия связи «Пророка» с историей декабризма (оно опиралось на ставшие известными свидетельства мемуаристов), затем постепенное усиление социологизированной концепции и, наконец, обратное движение, возвращающее произведение к первоначальной трактовке и снимающее со счетов даже малейшее упоминание о его сложной истории.

Важную роль в развитии концептуальных построений религиозно-философского характера сыграло высказывание о «Пророке» Адама Мицкевича, содержащее в себе, как считают некоторые исследователи, элементы мистики. Вот что писал в опоре на него М. О. Гершензон, первым попытавшийся «утвердить» в биографии Пушкина «факт» какого-то преобразования, будто бы пережитого поэтом и отраженного в «Пророке»: «Мицкевич несомненно был прав, когда назвал „Пророка“ Пушкина его автобиографическим произведением. Недаром в „Пророке“ рассказ ведется от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преобразования; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и подробности события столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного случайного слова, но каждое строго деловито, конкретно и точно, как в клиническом протоколе» («Мудрость Пушкина»; впервые: 1917).³ В работах о С. Булгакова («Жребий Пушкина», 1938) и С. Л. Франка («Религиозность Пушкина», 1933, и «Светлая печаль», 1949), конечно же, нет такого безоглядного и наивного биографизма. Они писали о «преображении» поэта более осторожно, но не менее увлекательно. У Булгакова это было дано в форме яркого вопроса, утвердительный ответ на который напрашивался сам

¹ Пушкин А. С. Сочинения / Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855. Т. I. С. 419.

² Соловьев В. С. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX—первая половина XX в. / Сост., вступ. ст. и комм. Р. А. Гальцевой. М., 1990. С. 77.

³ Цит. по: Пушкин в русской философской критике. С. 219.

собой: «Или же Пушкин описывает здесь то, что с ним было, то есть данное ему видение Божьего мира под покровом вещества?»⁴ В книге А. Позова вновь проявился родственный гершензоновскому пафос утверждения очевидного и неоспоримого: «В самом серафическом из всех своих произведений, в стих. „Пророк” Пушкин показал новое таинство, не предусмотренное святоотеческим и апостольским богословием и школьным катехизисом, 8-ое таинство сверх семи церковных таинств, таинство пророческого посвящения. Он сам принял это посвящение в почти пророческом экстазе».⁵

Интерес к этой концепции не оставляет и современных авторов.⁶ В основе построений религиозно-философского характера лежит высказывание о «Пророке» Мицкевича, а между тем оно никогда не было переведено на русский язык в полном объеме. Более того, ни в одной из работ такого рода нет отсылки к первоисточнику. Их авторы предпочитают ссылаться друг на друга, но не на текст Мицкевича. Самое большее, что может найти читатель на страницах работ религиозно-философского направления о «Пророке», — это подчеркивание авторитетности мнения такого мемуариста, как Мицкевич (см., например, в статье Франка «Религиозность Пушкина»: «„Пророк” — бесспорно величайшее творение русской религиозной лирики, которое, по авторитетному свидетельству Мицкевича, выросло у Пушкина из его основного жизнепонимания, из веры в свое собственное религиозное призвание как поэта»)⁷. Между тем высказывание Мицкевича о «Пророке» чрезвычайно противоречиво и нуждается в детальнейшем анализе.

В 1840—1844 годах в Collège de France Мицкевич читал цикл лекций по славянской литературе.⁸ В них он неоднократно касался творчества Пушкина. Интересующее нас высказывание о «Пророке» Мицкевич сделал 20 декабря 1842 года (это третий курс лекций). Вот что было сказано им в этот день: «C'est le commencement d'une ere nouvelle dans la vie de Puszkin; mais il n'eut pas la force de realiser ce pressentiment; le courage lui manqua pour régler sa vie interieure et ses travaux littéraires d'après ces hautes idées; la pièce dont nous parlons erre au milieu de ses ouvrages comme quelque chose de tout-à-fait à part de vraiment supérieur, et dont personne ne connaît pas l'histoire. Il l'avait écrite après la découverte de la conspiration de 1825. L'état extraordinaire dans lequel il a composé cette pièce n'a duré que peu de jours, et depuis ce moment commence la chute morale du poète».⁹ Перевод: «Это — начало новой эры в жизни Пушкина, но у него не достало сил осуществить это предчувствие, ему не

⁴ Там же. С. 232.

⁵ Позов А. Метафизика Пушкина. Мадрид, 1967. С. 187.

⁶ См., например: Архангельский А. Н. «Огонь бо есть...» // Новый мир. 1994. № 2. С. 238; Мальчукова Т. Г. «Тайно светит» (стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» и «Пророк» в контексте христианской культуры) // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. VII. По материалам традиционных Христианских пушкинских чтений. СПб., 1995. С. 34—49; Котельников В. А. Язык Церкви и язык литературы // Русская литература. 1995. № 1. С. 17.

⁷ Пушкин в русской философской критике. С. 389.

⁸ См. об этом: Фишман С. Парижские лекции Мицкевича о славянских литературах // Русско-европейские литературные связи. Сб. статей к 70-летию со дня рождения М. П. Алексеева. М.; Л., 1966. С. 232—242. См. также публикацию «Из лекций о славянских литературах (1840—1843)» и комментарий к ним М. С. Живова в кн.: Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 125—437, 467—500 (это самая полная публикация курса Мицкевича на русском языке, в которую, однако, не вошла значительная часть его лекций).

⁹ Mickiewicz A. Les slaves. Cours professe au Collège de France, par Adam Mickiewicz (1842—1843), et publié d'après les notes stenographiées. Paris, 1849. Т. 4. P. 39—40.

хватило духа устроить свою домашнюю жизнь и свои литературные труды в соответствии с этими высокими идеями; пьеса, о которой мы говорим, среди его произведений занимает совершенно особое, поистине высокое место, и никто не знает истории ее создания. Он написал ее после раскрытия заговора 1825 года. Особое состояние, в котором он написал эту пьесу, продлилось всего несколько дней, а потом началось моральное падение поэта».

Анализ текста Мицкевича необходимо предварить характеристикой того этапа, который переживался им в это время. Третий и четвертый курсы общеславянской литературы были прочитаны Мицкевичем под сильнейшим влиянием Анджея Товяньского (Товианского, 1799—1878), известного мистика и проповедника польского мессианизма. М. Дерналович писала об этом периоде: «Есть нечто глубоко трагическое в жизни Мицкевича: гений, поддающийся воле мелкого шарлатана, мечущийся в душной атмосфере сектантских интриг, псевдомистических порывов».¹⁰

Воздействие Товяньского легло на уже давно подготовленную в душе поэта почву. Мицкевича отличало чрезвычайно высокое, основанное на внутреннем религиозном чувстве представление о долге поэта. «Мне кажется, — писал он И. Кайсевичу 31 октября 1835 года, — что вернутся времена, когда надобно будет быть святым, чтобы быть поэтом, когда нужны будут вдохновение и априорные знания о вещах, которых разум выразить не может, чтобы пробуждать в людях уважение к искусству, которое слишком долго было актрисой, блудницей или политической газетой. Эти мысли часто вызывают во мне скорбь, почти горечь; часто мне кажется, что я вижу обетованную землю поэзии, как Моисей, с вершины горы, и чувствую, что не достоин войти в нее».¹¹

Вся жизнь польского поэта была подчинена святому в его представлении долгу — служению страждущей отчизне. В. Соловьев писал о нем: «Мицкевич был больше Пушкина глубиной своего религиозного чувства, серьезностью своих нравственных требований от личной и народной жизни, высотой своих мистических помыслов и, главное, — своим всегдашним стремлением покорять все личное и житейское тому, что он признавал как безусловно должное, — и все это, конечно, звучало и в стихах Мицкевича, — хотя бы не имевших прямо религиозного содержания, — сообщая им особую привлекательность для душ, соответственно настроенных».¹² Эти особенности личности Мицкевича объясняют ту требовательность, с которой он отнесся к произведению Пушкина. Мицкевич как бы спрашивал у автора «Пророка»: если в душе поэта прогремело от Бога слово «Глаголом жги сердца людей», то тогда где же творческое осуществление этого призыва? В поэзии Пушкина Мицкевич рассмотреть этого не сумел. Вацлав Ледницкий, проанализировавший позицию польского поэта в отношении «Пророка», считал, что Мицкевич имел право на такой максимализм. В его поэзии Ледницкий указал на ряд сходных с «Пророком» образов и сюжетов. Представленное в них глубокое религиозное чувство влекло поэта к деятельному служению во имя заявленных в его творчестве идеалов. Такую же цельность жизненной и творческой позиции Мицкевич хотел увидеть и у Пушкина.¹³

¹⁰ Дерналович М. Адам Мицкевич. Варшава, 1969. С. 97.

¹¹ Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 490.

¹² Пушкин в русской философской критике. С. 44.

¹³ Lednicki W. Ex oriente lux (Mickiewicz and Pushkin) // Lednicki W. Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz. University of California. Martunus Nijhoff, The Hague, 1956. P. 71—73.

Менее сочувственный, чем у Ледницкого, отзыв о высказывании польского поэта мы находим в статье Вяземского «Мицкевич о Пушкине» (1872). Она содержала пересказ части лекции Мицкевича 20 декабря 1842 года: «Говоря о некоторых отдельных стихотворениях поэта, Мицкевич обращает особенное внимание на известное под заглавием „Пророк”. В этом произведении критик видит начало новой эры в жизни Пушкина; но, продолжает он, Пушкин не имел в себе достаточной силы, чтобы осуществить это предчувствие; недостало смелости, чтобы подчинить внутреннюю жизнь и труды свои этим возвышенным понятиям. Произведение, о котором говорим, блуждает посреди произведений его как нечто совершенно отдельное и поистине превосходное». И несколько далее: «По мнению критика, после „Пророка” начинается нравственное падение поэта. Он бесспорно остался неподражаемым; но с тех пор не создал он ничего подобного произведению, о котором речь идет; кажется даже, он возвращается вспять».¹⁴

Изложив таким образом фрагмент лекции Мицкевича, Вяземский сделал следующий вывод: «Видимо, Мицкевичу все хотелось бы завербовать Пушкина под хоругвь политического мистицизма, которому он сам предался с таким увлечением. Мудрено понять, как поэт в душе и во всех явлениях жизни своей, каковым был польский поэт, мог придать какому-нибудь отдельному стихотворению глубокое значение переворота и нового преобразования в общем и основном характере поэта. Неужели самому Мицкевичу не случалось быть под наитием всеоблающего, но перелетного вдохновения? В жизни поэта день на день, минута на минуту не приходится. Одни мелкие умы и тупоглазые критики, прикрепляясь к какой-нибудь частности, подводят ее под общий знаменатель. Далеко не таковы были ум и глаза Мицкевича. Но дух системы, но политическое настроение отуманивают и самые светлые умы, и самое пронизательное зрение».¹⁵

Вяземский писал свою статью в большом раздражении. Он приступил к ее созданию после знакомства с малодостоверными воспоминаниями О. А. Пшецлавского (Ципринуса). В них Пушкин был представлен как ученик, трепещущий перед «мэтром» Мицкевичем.¹⁶ Своей статьей Вяземский хотел расставить все по своим местам, отдав должное двум великим поэтам. Упоминание в ней лекционного курса Мицкевича отражало давний интерес Вяземского. В начале 1840-х годов он напряженно следил за лекциями по их переложениям во французских и польских газетах. О них ему рассказывал в своих письмах и А. И. Тургенев, посещавший выступления Мицкевича в Париже. В свое время именно этот корреспондент Вяземского принес ему известие об увлечении польского поэта Товяньским. Это во многом определило оценку двух последних лекционных курсов, данную Тургеневым. Ее разделял Вяземский, которому фигура Товяньского была весьма антипатична.¹⁷ Это настроение отразилось в статье 1872 года, где «товянизм» Мицкевича был охарактеризован Вяземским как «политический мистицизм».

Вернемся к изложенному у Вяземского высказыванию Мицкевича о «Пророке». Из его пересказа выпали три момента: во-первых, утверждение о том, что историю «Пророка» «никто не знает», во-вторых, что

¹⁴ Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1882. Т. VII. С. 320—321.

¹⁵ Там же. С. 321.

¹⁶ См. об этом: *Ивинский Д. П.* Пушкин и А. Мицкевич в кругу русско-польских литературных и политических отношений. Вильнюс, 1993. С. 106—115.

¹⁷ См. об этом: *Живов М.* Адам Мицкевич. Жизнь и творчество. М., 1956. С. 449—450.

Пушкин написал его «после раскрытия заговора 1825 года», и, в-третьих, что состояние, в котором было создано это произведение, продлилось «несколько дней». В пушкиноведении, оперировавшем только пересказом Вяземского, эти свидетельства мемуариста никогда не рассматривались, а между тем именно в них-то и кроется самая ценная часть высказывания Мицкевича.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что Мицкевич связал стихотворение Пушкина «Пророк» с декабрьским восстанием 1825 года. Об этом же говорили и другие мемуаристы, с которыми Пушкин, вернувшийся из михайловской ссылки, встретился в Москве осенью 1826 года (среди них был и Мицкевич). По словам С. А. Соболевского, «„Пророк“ приехал в Москву в бумажнике Пушкина» 8 сентября 1826 года.¹⁸ «Во время коронации, — вспоминал С. П. Шевырев в 1850—1851 годах, — государь послал за ним нарочного курьера (обо всем этом сам Пушкин рассказывал) везти его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе, и теперь, воображая, что его везут не на добро, дорожно обдумывал далее это сочинение; а между тем известно, какой прием сделал ему великодушный император. Тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал об нем».¹⁹

Несколько иначе об этом сообщается в рассказе П. В. Нащокина, записанном П. И. Бартеневым в 1851—1853 годах: «С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. (...) Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь; тут погибли (...) и некоторые стихотворные пьесы, между прочим стихотворение „Пророк“, где предсказывались совершившиеся события 14 декабря».²⁰

Свидетельство Нащокина об уничтожении в день отъезда из Михайловского (3 сентября 1826 года) первой редакции «Пророка», связанной с «событиями 14 декабря», как будто противоречит сообщениям других мемуаристов о том, что в день приезда Пушкина в Москву этот текст был при нем, однако это противоречие снимается наблюдениями современных текстологов. «Анализ сохранившегося рукописного наследия Пушкина, — пишет С. А. Фомичев, — приводит к несомненному выводу, что с ноября 1824 г. он завел рабочую тетрадь, до нас не дошедшую (далее мы будем называть ее михайловской тетрадью). Она была заведена, вероятно, для автобиографических записок... С июня—июля 1825 г. эта тетрадь становится основной рабочей тетрадью Пушкина».²¹ По предположению Я. Л. Левкович, именно об этой «михайловской тетради» и говорил в своих воспоминаниях Нащокин: «Нащокин — близкий друг Пушкина, свято чтивший его память, — мог что-то перепутать, но не выдумать. Когда Пушкин поздно вечером вернулся из Тригорского в Михайловское, где его ждал офицер, какую-то рукопись он, по-видимому, успел бросить в топившуюся печь. Скорее всего, это была черновая тетрадь...»²² Рукописей «Пророка» до нас не дошло. Думаем, что они

¹⁸ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг. / Вступ. ст. и прим. М. Цявловского. Л., 1925. С. 34.

¹⁹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Вступ. ст. В. Э. Вацуру. Подг. текста, сост. и прим. В. Э. Вацуру, М. И. Гилельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. 2-е изд. М., 1985. Т. 2. С. 49—50.

²⁰ Там же. С. 226.

²¹ Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (из текстологических наблюдений) // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 29.

²² Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 82.

находились именно в этой «михайловской тетради». В таком случае какой же из автографов «Пророка» мог оказаться «в бумажнике» поэта по приезде его в Москву? Возможно, что это был один из вырванных листов тетради, брошенной затем Пушкиным в огонь.

Сам факт поездки Пушкина в сопровождении фельдъегеря с крамольным сочинением в кармане поражает воображение. М. П. Погодин даже считал возможным утверждать, будто бы «„Пророка” Пушкин написал, ехавши в Москву в 1826 г.».²³ Свидетельства как Погодина, так и Шевырева указывают на то, что путь из Михайловского в Москву был своего рода этапом в истории создания «Пророка». «Когда поэта везли в Москву, — писал Н. О. Лернер, — он, не зная наверное, что его ждет: получит ли он желанную свободу или, напротив, подвергнется еще горшим гонениям, и приходя в отчаяние за свою судьбу, слагал какое-то, быть может начатое уже раньше, стихотворение, „возмутительное сочинение”, которое после свидания с государем уничтожил, так как заключавшийся в нем протест уже не вязался с новым поворотом в жизни поэта».²⁴ Слагал его поэт, конечно же, мысленно, как с ним постоянно бывало в дороге (видимо, это было продолжением работы над «Пророком»). Маловероятно, что Пушкин имел возможность делать это на бумаге во время одной из остановок (так считал, например, Н. В. Фридман).²⁵

8 сентября 1826 года Пушкин был привезен в Москву и принят Николаем I. М. И. Семевский после своего посещения в 1866 году Тригорского писал: «В тогдашнем обществе (...) ходили (...) о Пушкине и о разговоре его с Государем самые разноречивые, самые нелепые толки. Так, например, уверяли, будто бы Государь в разговоре с Пушкиным пожелал узнать, нет ли при нем какого-нибудь нового стихотворения. Тот будто бы вынул из сюртука несколько бумаг, в попытках захваченных им при отъезде из Михайловского, перерыл их, но никакого нового стихотворения не нашел. Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин вдруг заметил на ступеньке лоскуток бумажки: подымает его и с ужасом будто бы узнает в нем собственноручное небольшое стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь. Он стал вспоминать, как оно попало сюда, и наконец вспомнил, что (...) вынимал из кармана платок, при чем будто бы и вывалился этот лоскуток бумажки, который мог надеть ему столько хлопот. Придя в гостиницу, Пушкин немедленно сжег это стихотворение».²⁶ Послание к декабристам «Во глубине сибирских руд» было написано Пушкиным в 1827 году, следовательно, в воспоминаниях тригорских обитательниц, переданных Семевским, речь могла идти только о «Пророке».

Эпизод с временной утратой Пушкиным текста стихотворения припомнил вслед за Семевским и Соболевский, который, полемизируя с ним, рассказал об этом со всей убежденностью очевидца: «Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку; (...) я показал товарищу дом Ринкевича (...), в котором жил я, а у меня Пушкин²⁷ (...) Дом совершенно не

²³ Цявловский М. А. Погодин о «посмертных» произведениях Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 405.

²⁴ Лернер Н. О. «Пророк России» // Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 104.

²⁵ Фридман Н. В. О стихотворении «Пророк» // Фридман Н. В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. М., 1980. С. 189—190.

²⁶ Семевский М. И. Прогулка в Тригорское // С.-Петербургские ведомости. 1866. № 163.

²⁷ Пушкин переехал к Соболевскому в конце 1826 года, вернувшись из поездки в Псковскую губернию. 8 сентября 1826 года Соболевский встретился с поэтом в доме его дяди В. Л. Пушкина. Возможно, что оттуда друзья и отправились к Соболевскому на Собачью площадку.

изменился в расположении... Вот то место, где он выронил (к счастью — что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!!»²⁸

Статья Соболевского «Квартира Пушкина в Москве (письмо к редактору)» при публикации ее в газете «Русский» (1867. Листы 7 и 8. С. 111) претерпела ряд искажений, среди которых было следующее: вместо слов «стихотворения о повешенных» редактировавший это издание Погодин вставил слова «стихотворение на 14 декабря» (исправлено по автографу в 1974 году В. Э. Вадура).²⁹ Для хорошо знакомого с историей «Пророка» Погодина эта замена была равноценной: оба выражения характеризовали с идейно-тематической стороны одно и то же произведение. Определение привезенного Пушкиным в Москву произведения, данное Соболевским («стихотворения...»), перекликается с письмом Погодина Вяземскому от 29 марта 1837 года (в этом письме Погодин интересовался местонахождением ряда известных ему, но неопубликованных сочинений Пушкина). О «Пророке» он писал: «Должны быть четыре стихотв(орения), первое только напечатано (Духовной жаждою томим etc.)». ³⁰ В письме Погодина хотелось бы выделить слово «первое», которое автор отнес к известному нам стихотворению «Пророк». Согласно этому четыре «пророческих» стихотворения выстраиваются в некую последовательность, которую можно охватить понятием «стихотворный цикл». Именно к этому жанровому определению первой редакции произведения пришли два комментатора «Пророка» — Б. В. Томашевский³¹ и Т. Г. Цявловская³² (отметим, что это мнение разделяли не все исследователи).³³

Итак, высказывание Мицкевича о «Пророке» как нельзя лучше вписывается в ряд других свидетельств мемуаристов, утверждавших, что у этого произведения была ранняя, очень острая в политическом отношении редакция. Все они указывали на связь «Пророка» с событиями 14 декабря 1825 года. При этом имя Мицкевича должно открывать этот ряд имен современников Пушкина, поскольку ему первому удалось сказать хотя бы вскользь о необыкновенной истории «Пророка», никому еще в 1842 году не известной. Вяземский в своем пересказе фрагмента лекции Мицкевича не коснулся этого момента, видимо, из соображений благоразумия. Но сам факт связи стихотворения с историей декабризма он не стал оспаривать в своей статье. То же можно увидеть и в другом принадлежащем Вяземскому документе. В 1872 году Бартенев спросил его о справедливости сообщенного Соболевским эпизода с рукописью первой редакции «Пророка». 6 марта 1872 года Вяземский ответил на это: «(...) полагаю, что Соболевский немножко драматизировал анекдот о Пушкине. Во-первых, невероятно, чтобы он имел эти стихи в кармане своем, а во-вторых, я видел Пушкина вскоре после представления его Государю, и он ничего не сказал мне о своем испуге».³⁴ Обратим внимание

²⁸ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 13.

²⁹ См.: Там же. С. 424—425.

³⁰ Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. С. 405.

³¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 2. С. 439.

³² Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 2. С. 689—690.

³³ См.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей... С. 94; Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. С. 106; Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. III. С. 1130 (комментарий к «Пророку» Цявловского). Далее ссылки на это издание сочинений Пушкина даются в тексте с указанием тома и страницы.

³⁴ Цит. по: Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и прим. А. М. Гордина. М., 1992. С. 408.

на такую особенность письма Вяземского: он возражает против драматизации Соболевским эпизода с текстом крамольных стихов, но он не отрицает их существования! Он считает невероятным лишь их местонахождение «в кармане» Пушкина во время царской аудиенции. Таким образом, у нас есть основание видеть в этом письме Вяземского еще одно свидетельство в пользу существования политически заостренной редакции пушкинского «Пророка».

Очень важен для творческой истории произведения Пушкина другой момент лекции Мицкевича 20 декабря 1842 года: «Особое состояние, в котором он написал эту пьесу, продлилось всего несколько дней (...)». Что имел в виду лектор, говоря об «особом состоянии» поэта? Гершензон, Булгаков, Франк, Позов и др. ответили на это однозначно: речь может идти только о религиозном переживании. Мистическое откровение, не больше и не меньше! Как и всякое предположение, эта гипотеза имеет право на существование. Однако следует отметить, что она не обладает никакой реальной (биографической или творческой) основой. Ее попросту нечем подкрепить, потому что, создавая «Пророка», Пушкин жил совершенно другими чувствами и ему было тогда не до идеальных «серафических» откровений.

С момента известия о восстании 14 декабря 1825 года Пушкина не оставляла тревога за свою дальнейшую судьбу. Прямо или намеками об этом говорится почти во всех письмах Пушкина, написанных в 1826 году, вплоть до его отъезда из Михайловского. «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно» (письмо к Жуковскому, 20 января 1826 года. — XIII, 257). 10 июля 1826 года Пушкин писал Вяземскому: «Если бы я был потребован комиссией, то я бы конечно оправдался, но меня оставили в покое, и кажется это не к добру» (XIII, 286). При этом Пушкин постоянно высказывал живейшую надежду на снисходительный приговор бунтовщикам: «Надеюсь для них на милость царскую» (письмо к Плетневу, январь 1826 года. — XIII, 256); «Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя» (письмо к Дельвигу, начало февраля 1826 года. — XIII, 259); «⟨...⟩ крепко надеюсь на милость царскую» (вновь к Дельвигу, 20 февраля 1826 года. — XIII, 262).

Приговор декабристам, в основе которого лежали не законы государства, а воля монарха, стал полной неожиданностью для всей образованной России. «По совести нахожу, — писал Вяземский, — что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле».³⁵ Казнь пятерых заговорщиков произвела на людей пушкинского круга ужасающее впечатление. «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, — сообщал своей жене Вяземский, — а все прибавляет меня невольнo и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место».³⁶ Вот так же тяжело, как подлинную трагедию, пережил казнь декабристов и Пушкин.³⁷ 24 июля он услышал о ней и сделал запись в рабочей тетради. Спустя три недели, 14 августа, Пушкин написал Вяземскому одно из самых горестных своих писем, каждая строка которого проникнута

³⁵ Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. IX. С. 81—82.

³⁶ Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1909. Т. V. Вып. 2. С. 54.

³⁷ См. об этом: *Иезутова Р. В.* К истории декабристских замыслов Пушкина 1826—1827 гг. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. С. 88—114.

мыслью об участии «друзей, братьев, товарищей»: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (XIII, 291). Только это письмо Пушкина дошло до нас за период с 24 июля по 3 сентября 1826 года. По нему мы можем судить о состоянии поэта, в котором скорбь сменила собой былую надежду, а боязнь за свою дальнейшую судьбу приобрела, по-видимому, еще большую основательность.

Напомним определение первоначального текста «Пророка», данное Соболевским, — «стихотворения о повешенных». С содержательной стороны это напоминает следующий отрывок:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на выи
К у. (бийце) (?) г. (розному) (?) явись³⁸ —

так, по свидетельству ряда мемуаристов (подробнее об этом см. ниже), заканчивался «Пророк», привезенный Пушкиным в Москву. Отрывок «Восстань, восстань...» входит в раздел «Отрывки» собрания сочинений поэта (III, 461). О нем существует большая литература, в которой о принадлежности Пушкину этого отрывка говорится как «да»,³⁹ так и «нет».⁴⁰ Не входя в комплекс всей проблематики, связанной с текстом «Восстань, восстань, пророк России», здесь лишь укажем на него в качестве одного из свидетельств сложной истории пушкинского «Пророка», родившегося как отзвук на расправу с декабристами в последние, чрезвычайно трудные для поэта недели его михайловской ссылки.

По предположению Цявловского (см. его комментарий: III, 1130), датировка «Пророка» должна открываться датой 24 июля 1826 года, т. е. днем, когда Пушкин получил известие о казни декабристов. Именно оно, как нам кажется, и привело Пушкина в то «особое состояние», о котором сообщил в своей лекции Мицкевич. Это было состояние гнева, возмущения, боли. В одном из перечней, составленных Пушкиным в середине 1827 года, «Пророк» фигурирует под заглавием «Великой скорбию томим».⁴¹ Этот вариант первого стиха как нельзя лучше передает то настроение, в котором находился Пушкин, узнавший о приговоре над декабристами. Это была «великая скорбь» — чувство, в высшей степени достойное пророка. Поэт, весь 1826 год с напряжением ожидавший своего вызова на следствие, вдруг увидел, что он промыслом Божиим оставлен вне круга заговорщиков и спасен от страшной участи. Для чего? Многие из современников Пушкина изнывали в напряженном и тяжелом чувстве,

³⁸ Здесь нами предложена новая конъектура в стихе 4 отрывка «Восстань, восстань...». Цявловский полагал, что запись в тетради Бартенева «К у. г.» должна расшифровываться как «К у. (бийце) (?) г. (нусному) (?)» (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей... С. 31, 94). Эта конъектура принята во всех пушкинских изданиях. Думаем, однако, что в Михайловском, после прогремевшего на всю Россию приговора над декабристами, Николай I мог видеться Пушкину именно «убийцей грозным». Здесь есть намек на венценосную особу (ассоциация с Иоанном Грозным), что, по-видимому, и продиктовало Бартеневу необходимость зашифровки этого стиха.

³⁹ См., например: *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.; Л., 1950. С. 533—542; *Строганов М. В.* Стихотворение Пушкина «Пророк» // *Временник Пушкинской комиссии*. Вып. 27. СПб., 1996. С. 5—17.

⁴⁰ См., например: *Цявловская Т. Г.* О работе над «Летописью жизни и творчества Пушкина» // Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной пушкинской конференции. М.; Л., 1953. С. 381; *Слонимский А. М.* Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 144—145.

⁴¹ *Томашевский Б. В.* Пушкин: Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925. С. 111.

у него же в руках была лира. Видимо, не только жестокость свершившегося наказания, но и сознание своего избранничества подтолкнули поэта к созданию самого острого из всех написанных им политических сочинений. Так появилась не дошедшая до нас первая редакция «Пророка», представлявшая собой стихотворный цикл.

Итак, научная биография Пушкина не вмещает в себя «факт» мистического преображения, будто бы пережитого Пушкиным в 1826 году и отраженного затем в стихотворении «Пророк». Вопреки мнению авторов религиозно-философского направления, Мицкевич в своей лекции говорил не о мистике, а о связи «Пророка» с историей декабризма. Почему же высказывание Мицкевича было воспринято ими столь специфично? Прежде всего из-за недостаточности знаний в области декабристоведения (это объективная причина; советская же наука этим кругом авторов замечена не была). До революции, в силу очень серьезных цензурных стеснений, наука успела сделать лишь самые первые шаги в этом направлении. То же можно сказать и о проблеме «Пушкин и декабристы». Об этом знали тогда столь мало, что намеки Мицкевича по сути дела некому было и понимать. Хорошо его понял Вяземский, который поэтому и не стал спорить с парижским лектором по вопросу о связи «Пророка» с историей заговора 1825 года. Он лишь намекнул на то, что у поэта «день на день, минута на минуту не приходится». Эти осторожно сказанные слова нужно, по-видимому, понимать так: позиция Пушкина, выраженная в «Пророке», не могла не претерпеть серьезных изменений в его дальнейшей творческой жизни. Эта точка зрения совпадает с современным подходом к проблеме «Пушкин и декабристы», выработанным академическим пушкиноведением.

При оценке взгляда авторов религиозно-философского направления на высказывание Мицкевича о «Пророке» следует учитывать и такой факт. До революции самой постановке проблемы «Пушкин и декабристы» настойчиво препятствовал имперский официоз, утверждавший, что ее просто-напросто не существует. Это бросается в глаза при знакомстве с той бурей публикаций, которая была вызвана появлением в печати отрывка «Встань, встань, пророк России». На принадлежность Пушкину этого текста указали в своих публикациях П. П. Каратыгин, сославшийся на Соболевского,⁴² А. П. Пятковский (со ссылкой на А. В. Веневитинова, брата поэта Д. В. Веневитинова),⁴³ наконец, П. И. Бартенев, записавший четверостишие со слов Погодина и Хомякова.⁴⁴ Однако декабристский контекст, в котором в результате всех этих публикаций оказался вдруг пушкинский «Пророк», устраивал далеко не всех. Критика четверостишия «Встань, встань...» приняла характер усилий по его дискредитации. Так, В. Д. Спасович писал в своей статье «Байронизм Пушкина и Лермонтова. Из эпохи романтизма», что эта «строфа не могла быть заключительною, так как она оставляет читателя в полном недоумении, зачем имел явиться и что имел сказать этот с вервьем на шее человек в своем, совсем не обычном по нашему времени, костюме и с своими весьма малопонятными библейскими речами? В данных условиях его поступок сильно походил бы на выходку помешанного. Вспомним еще,

⁴² Каратыгин П. П. Александр Сергеевич Пушкин. 1799—1837 // Русская старина. 1880. Т. XXVII. Январь. С. 133.

⁴³ Пятковский А. П. Пушкин в Кремлевском дворце. 1826 г. // Там же. Март. С. 674—675.

⁴⁴ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. VIII. Письма. С. 381—382 (примечание Бартенева); Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей... С. 31.

что либеральный бред прошел у Пушкина еще в то время, когда он писал „Сеятеля“, что в январе 1826 г. он уже непременно желал примириться с правительством. Он не был заодно с декабристами, — он только скорбел о них. У него не могло быть в запасе никаких „жгучих глаголов“, коль скоро от милостивых слов государя он мгновенно раскаялся и сделался на остальную жизнь человеком, не противным правительству».⁴⁵

Незнание обстоятельств зарождения в творчестве Пушкина замысла «Пророка» сказалось и в анализе произведения, проделанном Н. И. Черняевым. «Отождествление пушкинского пророка с поэтом, а пророческой миссии с призванием поэзии, — считал этот исследователь, настаивавший на «кораническом» прочтении «Пророка», — держится исключительно на тех четырех стихах, которые не имеют с Пушкиным ничего общего и не находят в самом „Пророке“ ни малейшей опоры».⁴⁶ Вопреки данным биографического характера, Черняев был убежден, что «не в характере благородного, прямодушного и искреннего Пушкина было держать камень за пазухой и писать резкие выходки против молодого царя, на справедливость которого он возлагал все надежды».⁴⁷ Малая изученность проблемы «Пушкин и декабризм», характерная для литературоведения конца XIX века, а также неглубокое знание Черняевым Библии (на это наметнул в своей статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» В. Соловьев) определили целую серию недоумений этого исследователя, которые он был не в состоянии разрешить: «⟨...⟩ обращение к неведомому пророку России, пристегнутое к рассказу пушкинского пророка, поражает своей неожиданностью и звучит диким и резким диссонансом... „Позорной ризой облекись“ — это такой стих, какого не мог написать не только Пушкин, но и ни один сколько-нибудь грамотный поэт. ⟨...⟩ Трудно даже понять, что надлежит понимать под выражением „позорная риза“. Уж не рубище ли? Но почему же „пророк России“ должен ходить непременно в разодранной одежде? ⟨...⟩ Третий стих — „И с вервием на выи“ — производящий, несмотря на весь его задор, несколько комическое впечатление, мог бы удовлетворить разве только завзятого „словеноросса“, приверженного к высокому слогу во вкусе Шишкова...»⁴⁸

Ряд претензий Спасовича и Черняева к тексту «Восстань, восстань, пророк России» носил эстетический характер. Эта сторона их выступлений была замечена издателями Пушкина П. А. Ефремовым и П. О. Морозовым, и они, несмотря на уже состоявшиеся публикации четверостишия в составе пушкинских собраний, поспешили исключить его из своих новых изданий.⁴⁹ В этих условиях лишь Бартенева не отступился от правды об истории «Пророка», слышанной им некогда от друзей Пушкина — Погодина, Хомякова, Шевырева, Нащокина, Соболевского, Вяземского. В 1900 году Бартенева пошел на публикацию спорного отрывка, записанного им почти пятьдесят лет до этого (он сделал это в примечании к одному из писем Хомякова, где речь шла о «Пророке», — см. сн. 44). Голос Бартенева, однако, не был услышан издателями Пушкина. «Восстань, восстань, пророк России» вошло в собрания сочинений Пушкина лишь в

⁴⁵ Вестник Европы. 1888. Т. II. Март. С. 83.

⁴⁶ Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». М., 1898. С. 17.

⁴⁷ Там же. С. 16.

⁴⁸ Там же. С. 14—15.

⁴⁹ См. критические реплики издателей по поводу отрывка «Восстань, восстань...»: Пушкин А. С. Сочинения и письма / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. II. С. 395; Пушкин А. С. Сочинения / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1905. Т. VIII. С. 263.

послереволюционный период. Его присутствие в разделе «Отрывки» большого академического собрания сочинений поэта (III, 461) не было одобрено всеми исследователями. Показательна в этом отношении позиция Б. В. Томашевского: «Восстань, восстань...» включено в подготовленное им десятитомное собрание сочинений Пушкина,⁵⁰ в трехтомном же издании «Библиотеки поэта» (большая серия) он привел его только в комментарии «Пророка».⁵¹ Ключевую роль в сложностях с текстом «Восстань, восстань, пророк России» сыграли выступления Спасовича и Черняева с их насмешками над эстетической стороной отрывка. И по сей день их недоумения вызывают сочувствие пушкинистов,⁵² а между тем они легко разрешимы при обращении к библейским текстам, на которые ориентировался поэт, создавая своего «Пророка».

Соотношение пушкинского «Пророка» с Библией — это, как ни странно, одна из наименее разработанных проблем в литературе, посвященной этому произведению. Из всех исследователей, писавших о «Пророке», подлинным знатоком Библии (а также и Корана, что немаловажно) был только В. Соловьев. Он назвал его «удачнейшим, безукоризненным подражанием Библии».⁵³ Анализ произведения, предваривший этот вывод философа, был выполнен с виртуозной тонкостью, но не без пробела: в нем недостаточна база параллельных «Пророку» мест из Библии, которые помогли бы читателю (особенно современному) удостовериться в правильности выводов автора статьи. До сих пор у нас из одного исследования в другое переходят отсылки к книге пророка Исаии, откуда Пушкин заимствовал образ горящего в руке серафима угля. Между тем «Пророк» имеет множественные точки соприкосновения с различными книгами как Ветхого, так и Нового Завета. На эту тему существует лишь одна статья, совершенно затерявшаяся среди публикаций тоненького научно-популярного журнала. А. Г. Чижов, ее автор, проделал большую работу с Библией и указал в ней массу параллельных «Пророку» мест. Ценной стороной его статьи является сопоставление с текстом «Пророка» не русской, а церковнославянской Библии (напомним, что Пушкин, в добавление к французской, читал в Михайловском именно ее). Так, в книге пророка Иезикииля (гл. 1, ст. 13) Чижов обнаружил такое церковнославянское выражение: «угля огня горящаго» (русский перевод: «вид горящих углей»)⁵⁴. Ср. у Пушкина: «Угль, пылающий огнем». И в произведении Пушкина, и в библейской книге все три слова пылают огнем — удивительно яркий образ! Что это? Один из источников пушкинского шедевра? Вполне возможно, поскольку «Пророк» вобрал в себя мощные токи библейской образности и стилистики, показав тем самым прекрасное знание Пушкиным «вечной книги».

Именно Библия помогает понять и центральный образ отрывка «Восстань, восстань, пророк России». Стих «В позорны ризы облекись» находит в Библии следующее объяснение. В ней слово «риз» характеризует не только красивые (священнические) одежды, но и некий аллегорический покров, принимавшийся тем или иным героем как символ решимости на определенные действия. Вот, например, строки из книги

⁵⁰ См., например: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. [1-е изд.]. М.; Л., 1949. Т. II. С. 358.

⁵¹ *Пушкин А. С.* Стихотворения: В 3 т. / Вступ. ст., подг. текста и прим. Б. В. Томашевского. Л., 1955. Т. 3. С. 816.

⁵² См., например, отзыв В. Э. Вацура о художественной стороне «Восстань, восстань...»: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 425.

⁵³ Пушкин в русской философской критике. С. 60.

⁵⁴ *Чижов А. Г.* «Духовной жаждой томим...» // Наука и религия. 1983. № 2. С. 54—55.

пророка Исаии: «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его и правда Его поддержала Его. И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщениа, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом» (гл. 59, ст. 14—17). Здесь «риза мщениа» не имеет чувственной конкретики — это образное выражение всезахваченности Божества одним устремлением воли. Сам образ облачения в некие символические одежды чрезвычайно характерен как для Ветхого, так и для Нового Завета.

«Позорны ризы» в отрывке «Восстань, восстань...», по-видимому, должны быть понимаемы не как вретище (изодранная, старая, грубая одежда), а как символическое выражение истинного смысла событий, о которых предстояло вещать пушкинскому пророку. Не случайно здесь слово «позор». Именно так понимали происшедшее многие из современников Пушкина. «Дай Бог, чтоб по крайней мере частные примеры женских добродетелей, — писал Вяземский о женах приговоренных к каторге и ссылке в Сибирь, — выкупили эпоху от позора и гнусности, коими она запечатлена».⁵⁵

В книге пророка Иеремии интересен такой эпизод: «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, было слово сие к Иеремии от Господа: так сказал мне Господь: сделай себе узы и ярмо и возложи их себе на выю» (гл. 27, ст. 1—2). Узы и ярмо Иеремии несли Израилу страшную весть о неминуемом семидесятилетнем плене в царстве Вавилона. Полагаем, что именно к этому образу из книги пророка Иеремии восходит дошедший до нас отрывок первой редакции «Пророка»: «Иди, и с вервием на выи (...). Видимо, в этом стихотворном цикле Пушкин ориентировался на множественные образы пророческих книг (Исаия, Иезекииль, Иеремия), объединяя их с целью обличения современной ему неправды, что и определило основное звучание первой редакции «Пророка». В ней заимствование из Иеремии (узы — «вервь») получило иное, символическое значение: напоминанием об орудии убийства свидетельствовать о беззаконии суда, совершенного над пятью участниками событий 14 декабря.

По-видимому, обе редакции «Пророка» были объединены единой темой, которой Пушкин посвятил это произведение, — призывание на служение Богу поэта-пророка. При создании первой редакции Пушкин был вдохновлен идеей социально-исторического служения библейского пророка, которую развил в не дошедших до нас стихотворениях цикла в виде обличения современной ему неправды и жестокости. При работе над второй редакцией, имевшей целью подготовку «Пророка» к печати, произведение утратило свое злободневное звучание, что придало ему философско-эстетическую глубину. Призыв обойти «моря и земли» в сравнении с локальной задачей, поставленной в михайловской редакции перед «пророком России», укрупнил замысел произведения, однако в своей основе он остался единым, что позволяет говорить о преемственности двух редакций произведения. Уже первая редакция (цикл «Пророк», а в него, по свидетельству Погодина, входило известное нам стихотворение) обладала всей полнотой концепции внутреннего преображения поэта, выводившего его на стезю служения Богу. Во второй редакции смысл духовных

⁵⁵ Остафьевский архив. Т. V. Вып. 1. С. 55.

даров, полученных героем от серафима, проясняется в заключительном четверостишии — призыве самого Бога. По-видимому, до нас не дошла подобная этой часть первой редакции, где перед усвоившим сверхъестественную зоркость «зенниц» и чуткость слуха поэтом ставилась сообразная с дарованиями задача (во второй редакции этому соответствует призыв: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...»). Гражданское негодование, переданное в первой редакции посредством актуальных для 1826 года аллюзий, воплотилось во второй редакции в заключающий произведение стих «Глаголом жги сердца людей». Возможность исполнить это повеление поэт-пророк получил благодаря тому огню, который оказался заключен в его груди взамен «сердца трепетного». По-видимому, финал стихотворения «Пророк» вобрал в себя те идейно-образные мотивы, которые развивала его первая редакция. Именно поэтому в стихотворении «Арион» (1830), где Пушкин подвел итог своим взаимоотношениям с декабристским лагерем, он смог открыто засвидетельствовать перед своим читателем: «Я гимны прежние пою». Одним из этих «прежних гимнов» и была вторая редакция его «Пророка».⁵⁶

Тема «Пушкин и декабристы» получила научную глубину и многоаспектность благодаря усилиям советских ученых, значительно продвинувших вперед такую область русской историографии, как декабристоведение. Вот этой-то глубины и не хватает авторам, религиозно-философские работы которых явным образом проигрывают при сравнении с базирующимся на фактах академическим пушкиноведением. Оно не было свободно от известных идеологических штампов, однако то же самое можно сказать и о религиозно-философской критике, в особенности же о современных исследователях, пытающихся работать в проложенном ею русле. Просто у них иные штампы, иная тенденциозность, иная несвобода. Да, религиозно-философская критика создавалась людьми блистательных дарований, но и на их работы следует смотреть трезвым современным взглядом, не отбрасывая за ненадобностью то богатство, которое накопила наука о Пушкине к концу XX века. Иначе нас захлестнет новая волна мифотворчества, связанного с его именем. Живучесть мифа об «авторитетном свидетельстве» Мицкевича подтверждает реальность таких опасений. Не следует забывать, что он был создан в недрах религиозно-философской критики.

Известно, что от великого до смешного один шаг. Высокие идеалы, в угоду которым закрываются глаза на данные строгой науки, способны сыграть с исследователем плохую шутку. Яркий пример тому — статья Л. М. Аринштейна «История двух мистификаций».⁵⁷ В ней автор, пытающийся утвердить другой миф о Пушкине — монархический, пишет: «Под стихотворением „Пророк” рукою Пушкина поставлена дата: „8 сентября 1826”».⁵⁸ А между тем такой рукописи попросту не существует. Никто из исследователей ни в XX веке, ни в XIX не видел автографов «Пророка»! Откуда же Л. М. Аринштейн узнал об этом автографе? Оказывается, из беседы с таким выдающимся знатоком рукописного наследия Пушкина, как Томашевский. В начале 1950-х годов он сообщил автору статьи, что Пушкин написал своего «Пророка» 8 сентября 1826 года после

⁵⁶ «Глашатай декабризма» — так назвал Томашевский автора «Пророка» (Пушкин А. С. Стихотворения: В 3 т. Т. 3. С. 816). В этом мнении о произведении Пушкина все комментаторы академической школы были едины — см., например, комментарий Цявловской: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 646.

⁵⁷ Пушкинская эпоха и христианская культура. СПб., 1994. Вып. V. С. 68—73.

⁵⁸ Там же. С. 68.

потрясшей его царской аудиенции. Это позволило Л. М. Аринштейну усмотреть в самом сюжете стихотворения (призывание Богом на служение избранного Им пророка) сходство с «благословением первого лица Российской империи», которое получил в Москве опальный поэт. Возможно, близкие к этим размышления тревожили и Томашевского, давшего в своем издании датировку «Пророка», отличную от той, что была предложена в большом академическом собрании сочинений Пушкина: у Томашевского — 8 сентября,⁵⁹ у Цявловского — 24 июля—3 сентября 1826 года (III, 1130). Однако вероятнее всего, что решение Томашевского определило другое: он первый из комментаторов «Пророка» попытался отделить его вторую редакцию от первой. До 3 сентября Пушкин мог написать свои «стихотворения о повешенных», после же его возвращения в Москву речь могла идти только о стихотворении «Пророк». Непонимание этого важного момента творческой истории произведения составляло слабую сторону комментария Цявловского: он, говоря о стихотворении «Пророк», указал на дату создания цикла «Пророк». Этого попытался избежать в малом академическом собрании сочинений Пушкина Томашевский. Однако при всем новаторстве такого подхода его комментарий содержал один серьезный изъян: никаких доказательств того, что стихотворение «Пророк» было написано на основе стихотворного цикла 8 сентября 1826 года, не существует. Томашевский это понял и в дальнейшем отказался от даты «8 сентября 1826 года». В трехтомнике «Библиотеки поэта» Томашевский писал: «Цикл этот {...} Пушкин привез в Москву из Михайловского. Он написан, по-видимому, после 24 июля, когда Пушкин узнал о казни декабристов».⁶⁰ В этом издании Томашевский поместил «Пророка» последним в михайловском разделе стихотворений поэта (1826 год), однако в самом комментарии исследователь фактически обошел вопрос о времени создания второй редакции произведения. С «Библиотекой поэта» связана, так сказать, «последняя воля» Томашевского относительно датировки «Пророка». Жаль, что исследователь, по-видимому, не успел внести исправления в комментарий десяти томника, который, будучи повторен еще тремя изданиями, растиражировал то, от чего сам Томашевский решительно отказался.

Доныне «Пророк» остается одним из самых загадочных произведений Пушкина. В творческой истории стихотворения проблематично все, начиная с вопроса о его соотносительности с ветхозаветными пророческими книгами и кончая датировкой произведения. Что касается последней, то в ней нужно, наконец, провести хронологическую границу между первой и второй редакциями стихотворения, и эта работа еще не сделана ни в одном из изданий сочинений Пушкина.

«Пророк» был напечатан Пушкиным в № 3 «Московского вестника» за 1828 год. К Погодину, редактору этого журнала, стихотворение попало не позже 17 ноября 1827 года. В этот день он оставил в своем дневнике такую запись: «Восхищался стихами Пушкина из Исаии».⁶¹ Думаем, что здесь речь идет о второй редакции «Пророка», поскольку с первой Погодин познакомился еще осенью 1826 года. «Пушкин прочел „Пророка“, который после „Бориса“ произвел наибольшее действие», — вспоминал он об этом впоследствии.⁶² Осторожный Погодин (он признавался в

⁵⁹ См., например: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. [1-е изд.]. Т. II. С. 437.

⁶⁰ *Пушкин А. С.* Стихотворения: В 3 т. Т. 3. С. 816.

⁶¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 25.

⁶² Там же. С. 39.

тех опасениях, с которыми вступал в то время в общение с неблагонадежными в глазах правительства людьми) не оставил записей о «Пророке» в своем весьма подробном дневнике 1826 года. Видимо, в ноябре 1827 года он увидел в стихотворении нечто новое, восхитившее его. Вероятнее всего, это было заключительное четверостишие. Именно поэтому его нет в копии произведения, сделанной Шевыревым несомненно до публикации «Пророка» (напечатано Цявловским: III, 578). В этой копии перед стихами «Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко мне воззвал» (на них записанный Шевыревым текст обрывается) стоит «звездочка» (она не приведена в публикации Цявловского).⁶³ Думаем, что таким образом Шевырев отметил начало второго стихотворения цикла «Пророк», и в этом особая ценность его копии.

Готовя свое произведение к печати, Пушкин, видимо, дорабатывал его. В таком случае мы не можем ограничить датировку произведения михайловским периодом. Полагаем, что вторую редакцию следует заключить в такие рамки: сентябрь (не ранее 8) 1826—октябрь 1827 (2 ноября 1827 года приехал в Москву из Петербурга Соболевский, который, скорее всего, и привез Погодину текст «Пророка»). При этом сам Пушкин датировал произведение только 1826 годом, подчеркивая тем самым неразрывную связь двух редакций произведения, смена которых была вызвана не его «сервилизмом», а стремлением в трудных условиях николаевской реакции сказать свое слово поэта и гражданина. Его не сумел оценить эмигрант Мицкевич, почти не знавший цензурных стеснений. Не было это отмечено в качестве заслуги Пушкина и религиозно-философской критикой. Только строгий научный комментарий, учитывающий самые тонкие нюансы свидетельств современников о сложной истории произведения, дает возможность в полной мере оценить мужество и стойкость поэта-пророка.

⁶³ ПД. Ф. 244. Оп. 4. № 17. Подробнее об этом см. в изложении нашего доклада, прочитанного на Третьей Международной пушкинской конференции в Одессе (Русская литература. 1995. № 4. С. 198—199).